





Михаил БУЛГАКОВ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РОМАНОВ, ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2012

УДК 82-3(02.021.2)
ББК 84(2Рос=Рус)
Б90

Серия основана в 2007 году

Иллюстрации
А. Акишина

Булгаков М. А.
Б90 Полное собрание романов, повестей и рассказов в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2012. — 1247 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0167-3

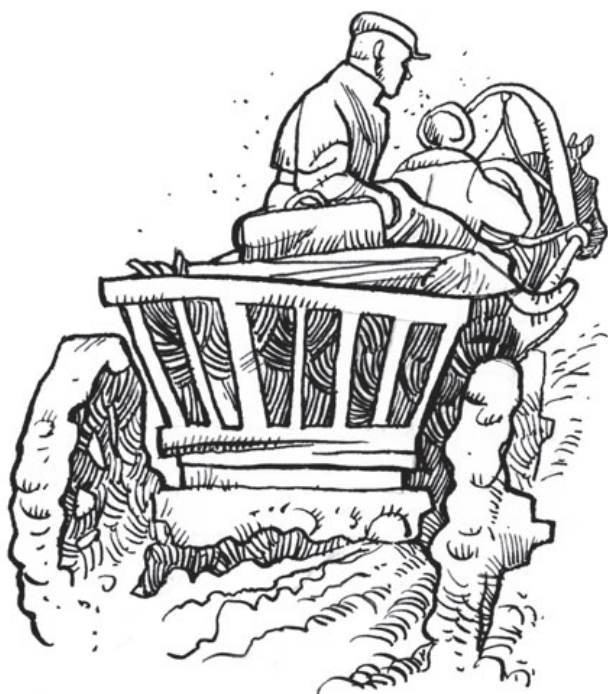
В данный том собраны романы, повести и рассказы одного из самых загадочных и талантливых русских прозаиков — Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 — 1940), чьи произведения вошли в золотой фонд мировой классики.

УДК 82-3(02.021.2)
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-9922-0167-3

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2008

**ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА.
МОРФИЙ**



ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились в сапогах, лежали смиренно, были похожи на деревянные культипки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич.

«Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

— П...по вашим дорогам, — заговорил я деревянными, синенькими губами, — нужно п...привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми ушišками, — пятнадцать годов ежду, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

...Привет тебе... при-ют свя-щенный...

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнушимися руками, — я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шархнув меня по ногам.

— Эх ты, госпо... — начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как пещух крыльями. — Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голосом приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отвращал мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

— Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном вверх кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии околеления я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксиныя, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

— Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм...

— Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, — утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне посевших волос, к чему-то сказала:

— Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу-ты, черт, — подумал я, — как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

— Гм... нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слышал о них ничего.

— Леопольд Леопольдович выписал, — с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучительно, — у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: «Освоитесь». Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные поло-

жения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», — вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой collega доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, — сказал я голосу, — не обязательна грыжа. Что за невращения? Взясся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилицы 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу — инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что — порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: вие, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалывшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», — тоскливо подумал я.

— Что вы, что вы, что вы! — забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

— Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная! — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. — Ах ты господи... Ах... — Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. — За что? За что наказание?.. Чем прогневали?

— Что? Что случилось?! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется — пушай. Пушай! — кричал он в потолок. — Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

— Что?.. Что? Говорите! — выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

— В мялку попала...

— В мялку... в мялку?.. — переспросил я. — Что это такое?

— Лен, лен мяли... господин доктор... — шепотом пояснила Аксинья, — мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» — в ужасе подумал я.

— Кто?

— Дочка моя, — ответил он шепотом, а потом крикнул: — Помогите! — И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.

* * *

Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежеспавнувшей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола.

Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, — думал я, — а сиделки, значит, его отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица... Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

— Он вдовец? — машинально шепнул я.

— Вдовец, — тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края доверху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидел, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

— Да, — тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, — подумал я, — тут уж ничего не сделаешь...»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

— Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

— Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет...

Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

— Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, — подумал я, — умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

— Сейчас помрет, — как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

— Камфары еще, — хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. — отчаянно подумал я. — Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сообразил, была железной, — что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю... Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического расщавления. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла... «Пусть умрет в палате, когда я кончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни

одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на грудь торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки, — но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость.

«Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости! Всё это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... Не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая коленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане...

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

— Жива?

— Жива... — как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.

— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, заматаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается.

— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

— Живет... — удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокрасалась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна Николаевна. — Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление.

— Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, — вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

— Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: «Умерла...»

Да, пойду и погляжу в последний раз... сейчас раздастся стук...»

* * *

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

— В Москве... в Москве... — И я стал писать адрес. — Там устроят протез, искусственную ногу.

— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и, наконец, исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ



*Посвящается
Любови Евгеньевне
Белозерской*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!

«Капитанская дочка»

И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...

1

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?

Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.

Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.

Алексей, Елена, Тальберг, и Анята, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь,

стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик Бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?

Улетающий в черное, потрескавшееся небо Бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.

Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец, И маму закопали. Эх... эх...

* * *

Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людвигом XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду scarlatины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнувшими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовою, Капитанскою Дочкою, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, — все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабая, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:

— Дружно... живите.

* * *

Но как жить? Как же жить?

Алексею Васильевичу Турбину, старшему, — молодому врачу — двадцать восемь лет. Елене — двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу, — тридцать один, а Николке — семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и шетинистей.

* * *

Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:

— Живите.

А им придется мучиться и умирать.

Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:

— Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...

Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.

— Что сделаешь, что сделаешь, — конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) — Воля Божья.

— Может, кончится все это, когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? — неизвестно у кого спросил Турбин.

Священник шевельнулся в кресле.

— Тяжкое, тяжкое время, что говорить, — пробормотал он, — но унывать-то не следует...

Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава раскрасневшейся, на пачку книжек и раскрыв верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.

— Уныния допускать нельзя, — конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. — Большой грех — уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, — он говорил все увереннее. — Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше всего богословские...

Он приподнял книгу, так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:

— «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь».

2

Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.

Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улице квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улице — первый, во двор под верандой Турбинных — подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем — сильно и весело загорелись турбинские окна.

В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.

— Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри.

Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.

— Вот бы подстрелить, чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю — это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.

— А ну их... Идем. Бери.

Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.

Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:

Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь.

Союзники — сволочи.

Он сочувствует большевикам.

Рисунок: рожа Момуса.

Подпись:

Улан Леонид Юрьевич.

Слухи грозные, ужасные,

Наступают банды красные!

Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом.

Подпись:

Бей Петлюру!

Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства — Мышлаевского, Карася, Шервинского — красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:

Елена Васильна любит нас сильно.

Кому — на, а кому — не.

Леночка, я взял билет на Аиду.

Бельэтаж № 8, правая сторона.

1918 года, мая 12 дня я влюбился.

Вы толстый и некрасивый.

После таких слов я застрелюсь.

(Нарисован весьма похожий браунинг.)

Да здравствует Россия!

Да здравствует самодержавие!

Июнь. Баркарола.

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина.

Печатными буквами, рукою Николки:

Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района. Дамский, мужской и женский портной *Абрам Пружинер*.

1918 года, 30-го января

Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с гро-

мадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе — в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, — столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень... Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо...

На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)

Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.

Старший бросает книгу, тянется.

— А ну-ка, сыграй «Съемки»...

Трень-та-там... Трень-та-там...

Сапоги фасонные,
Бескозырки тонные,
То юнкера-инженеры идут!

Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах — жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.

Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы...

Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут — ать, ать! Николкины глаза вспоминают:

Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.

Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор...

Здравствуйте, дачницы,
Здравствуйте, дачники,
Съемки у нас давно уж начались.

Туманятся Николкины глаза.

Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.

Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.

Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.

— Погодите. Слышите?

Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились — пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у... Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.

В гостиной — приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество» — снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище; в глазах — напряженнейший слух. Где? Пожал унтер-офицерскими плечами.

— Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.

Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, 12 верст от города, не дальше. Что за штука?

Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.

— Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...

— Ну да, тебя там не хватало...

Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуть-ся самое позднее, слышите ли — самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.

В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колоннок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе, голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу — коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы — приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы,

масло в прозрачной масленке, в сухарнице пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх... эх...

На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем как у Момуса.

В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.

Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, чего-нибудь с ним?.. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «...мрак, океан, вьюгу».

Не читает Елена.

Николка наконец не выдерживает:

— Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть...

Сам себя прервал и искажился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и — тонк-танк — идет к четверти одиннадцатого.

— Потому стреляют, что немцы — мерзавцы, — неожиданно бурчит старший.

Елена поднимает голову на часы и спрашивает:

— Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? — Голос ее тосклив.

Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.

— Ничего не известно, — говорит Николка и обкусывает ломтик.

— Это я так сказал, гм... предположительно. Слухи.

— Нет, не слухи, — упрямо отвечает Елена, — это не слух, а верно; сегодня видела Шеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.

— Чепуха.

— Подумай сама, — начинает старший, — мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно.

— Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.

— Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.

— Так, по-вашему, Петлюра не войдет?

— Гм... По-моему, этого не может быть.

— Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.

— Но боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и...

— И что? Ну что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.

— Почему же его нет?

— Господи боже мой. Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.

— Революционная езда. Час едешь — два стоишь.

Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:

— Господи, господа! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленой союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали...

Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ — вот он. Пожалуйста:

Союзники — сволочи.

Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили — раз, и тотчас же часам ответил залиvistый, тонкий звон под потолком в передней.

— Слава богу, вот и Сергей, — радостно сказал старший.

— Это Тальберг, — подтвердил Николка и побежал отворять.

Елена порозовела, встала.

* * *

Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.

— Здравствуйте, — пропела фигура хриплым тенором и заковневшими пальцами ухватила за башлык.

— Витя!

Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказа-

лась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.

— Откуда ты?

— Откуда?

— Осторожнее, — слабо ответил Мышлаевский, — не разбей. Там бутылка водки.

Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:

— Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.

— Ах, боже мой, конечно.

Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.

— Ну, конечно... Полно. Кишат.

— Вот что, — испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту. — Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.

В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забежала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.

— Легче... Ох, легче...

Размотались мерзкие, пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду — пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.

Слух... грозн...

Наст... банд...

Влюбился... мая...

— Что ж это за подлецы! — закричал Турбин. — Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?

— Ва-аленки, — плача, передразнил Мышлаевский, — вален...

Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:

— Кабак!

Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал:

— Снимите, снимите, снимите...

Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.

— Неужели же отрезать придется? Господи... — Он горько закачался в кресле.

— Ну, что ты, погоди. Ничего... Так. Приморозил большой. Так... отойдет. И этот отойдет.

Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.

Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».

— Гетман, а? Твою мать! — рычал Мышлаевский. — Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал — пропадем все... К матери! На сто саженой офицер от офицера — это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!

— Постой, — ошалевая от брани, спрашивал Турбин, — ты скажи, кто там, под Трактиром?

— Ат! — Мышлаевский махнул рукой. — Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Со-рок человек. Приезжает эта лахудра — полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля — переходите в наступление, с нами Бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь...» (Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голо-

сом) — и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж...! Мороз. Иголками берет.

— Да кто же там, господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?

— А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены... Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах, Трактир — верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется — ползут... Ну, думаю, что будем делать?.. Что? Вскинешь винтовку, думаешь — стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь — в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь — каюк. И под утро не вытерпел, чувствую — начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, верстах в трех поехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют — перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И, вообрази, — стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты — в папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.

— А! Наш, наш! — вскричал Николка.

— Погоди-ка, он не белградский гусар? — спросил Турбин.

— Да, да, гусар... Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»

Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, утром вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связушка с Постом-Волынским, — дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то, к чертям.

— Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.

— А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские! у-у... вашу мать!

— Господи боже мой!

— Да-с, — хрипел Мышлаевский, насасывая папиросу, — сменились мы, слава те господи. Считаем: тридцать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать...

— Как! Насмерть?

— А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелухе,

это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла — ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази — глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики... хлопчики!..» Говорю ему таким сдобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел... Мороз... Остервенился... Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегашь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство) прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, заразд дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвальни.

— Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается — уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное — мертвых некуда деть! Нашли, наконец, перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, боже мой. Ну конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, шей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. П-полный отдых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать — жертвы. Я так измучился...» И коньяком от него на версту. А-а-а! — Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:

— Дали отряду теплушку и печку... О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в город. В штаб генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз... ооченел... замок Тамары... водка...

Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.

— Вот так здорово, — сказал растерянный Николка.

— Где Елена? — озабоченно спросил старший. — Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.

Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...

И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.

Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...

Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже — ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка — академии и университета — белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали — неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.

— Кто ж такие? Петлюра?

— Ну, если бы Петлюра, — снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, — вряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки», — они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали

офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский, — Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: — Елена, пойдём-ка на пару слов...

Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот.

Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.

Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:

— Елена, никак иначе поступить нельзя.

Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:

— Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?

Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...

И Тальберг сказал:

— Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи...

...Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священ. Никогда не убегайте крысьей побегой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут.

Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.

На дальнем пути Города-I, Пассажирского, уже стоит поезд — еще

без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи... Гетманское министерство — это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что...

— Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли...

О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, — поймите, первый, — кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, — авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на боль-

шом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, опечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:

«Игнатий Перпилло — Украинская грамматика».

В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук — шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», — выбирали «гетьмана всяя Украины».

— Мы отгорожены от кровавой московской оперетки, — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте...» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.

Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в Средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом, — салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

«Петлюра — авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...»

— Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?

Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.

— Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон... Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть — значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее — в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.

Елена очнулась.

— Постой, — сказала она, — ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предадут?

Тальберг густо покраснел.

— Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.

Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру «Фауста» там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:

Я за сестру тебя молю,
Сжалься, о, сжалься ты над ней!
Ты охрани ее.

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Эх, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога всемогущего, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», — совершенно бессмертен.

Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.

— Вы же Елену берегите. — Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и спокойно сказал: — Пора.

Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзильнь... дзильнь... в передней свет сверху, потом на лестнице громыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.

В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.

— У... с-с-волочь!.. — провыло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.

А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.

— О, ја, — тянул время от времени толстый лейтенант и пожеывал сигару.

Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотанье, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж. д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.

3

В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышшь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скудность супруги инженера, Ванды Михайловны. Проклинаемая костля-

вая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спальни прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса... То есть сам-то он называл себя — Лисович, многие люди, с которыми он сталкивался, называли его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза же, в третьем лице, никто не называл инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас. Лис.».

Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровавых пятен и на вопль Елены:

— Господи! Что же это такое?! — ответил:

— Это Василисин сахар, черт бы его взял! — И после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь сам владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.

Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на

него и руками нашарил что-то, над верхним рядом книг на полке, провёл ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок, подsunул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу — тонкую цинковую пластинку — отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, взглянул на свет божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетика к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.

На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы.

Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые — какая, к черту, Василиса! — это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек — зеленый игральный крап:

Знак Державної скарбниці
50 карбованців
ходить нарівні з кредитовими білетами.

На крапе — селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатой, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червячками усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:

За фальшування карється тюрмою,
уверенная подпись:

Директор державної скарбниці Лебідь-Юрчик.

Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебидя-Юрчика и ласково — на лампу-царевну. Со стены на

бумажки глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее — предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон. Уют.

Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «Николаев I-х», 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и два Станислава.

В тайнике № 2 — 20 «катеринок», 10 «петров», 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), 50 золотых десятков, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Всё в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).

Третий тайник — чердак: две четверти от трубы на северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, 183 золотых десятки, на 25 000 процентных бумаг.

Лебідь-Юрчик — на текущие расходы.

Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюннить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.

— Фальшування, фальшування, — злобно заворчал он, качая головой, — вот горе-то. А?

Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке — раз. В четвертом десятке — две, в шестом — две, в девятом — подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебідь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных — перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем лебідевская. Василиса глядел на свет, и Лебідь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.

— Извозчику завтра вечером одну, — разговаривал сам с собой Василиса, — все равно ехать, и, конечно, на базар.

Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру II:

— Извольте видеть: никогда покою нет...

Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот, во сне, приехал

Лебидь-Юрчик верхом на коне и какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил Василиса, и первое, что услышал, — мышшь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех...

За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.

— Единственное средство — отказать от квартиры, — забарахтался в простынях Василиса, — это же невысказано. Ни днем, ни ночью нет покоя.

Идут и поют юнкера
Гвардейской школы!

— Хотя, впрочем, на случай чего... Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно, а тут офицеры, в случае чего — защита-то и есть. Брысь! — крикнул Василиса на яростную мышшь.

Гитара... гитара... гитара...

* * *

Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай...

На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:

Голым профилем на ежа не сядешь!

— Вот веселая сволочь... А пушки-то стихли. А-стра-умие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там! — Гитара.

Арбуз не стоит печь на мыле,
Американцы победили.

Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.

Игривы Брейтмана остроуты,
И где же сенегальцев роты?

— Где же? В самом деле? Где же? — добивался мутный Мышлаевский.

Рожают овцы под брезентом,
Родзянко будет президентом.

— Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!

Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председателем месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном — Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах — стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой — Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же, по александровской гимназической кличке, — Карась.

Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток — четыре бутылки белого вина, у Карася — две бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги, — само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же, у подъезда, сообщил новость: на погонах у него золотые пушки, — терпенья больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если Петлюра приползет в город — тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир — полковник Малышев, дивизион замечательный, так и называется — студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под городом...

Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху!! Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ур-ра! Все здесь. Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонями и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький улан сразу почувствовал, что он, как никогда, в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков, пел Шервинский эпиталаму богу Гименею, и как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, эта дурацкая война, большевики, и Петлюра, и долг, но потом, когда все придет в норму, он бросает военную служ-

бу, несмотря на свои петербургские связи, вы знаете, какие у него связи — о-го-го... и на сцену. Петь он будет в La Scala и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел эпиталаму, то вместо fa взял la и держал его пять тактов. Сказав — пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.

— Тэк-с, пять. Ну ладно, идемте ужинать.

И вот знамена, дым...

— И где же сенегальцев роты? отвечай, штабной, отвечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Пробрется на Дон и приедет сюда с деникинской армией.

— Будут! — звякнул Шервинский. — Будут. Позвольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее, через два дня, в Город придут два сербских полка.

— Слушай, это верно?

Шервинский стал бурым.

— Гм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.

— Два полка-а... что два полка... князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю — и нам на немцев наплевать.

— Предатели!

— Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить! Вот повесить!

— Своими руками застрелю.

— Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры!

Раз — и окончательный туман! Туман, господа. Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в передней (когда никто не видит, можно быть самим собой) припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно — красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев Стейер — вороненое дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за Постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко... Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет, вероятно, они, как сапоги, черные... Но ведь они же здесь померзнут, к свиньям? Они ведь привыкли к жаркому климату?

— Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило kota поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!

— Панику сеешь, — сказал хладнокровно Карась.

Турбин обозлился.

— Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накопело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело! Не панику, — кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине.

— Правильно! — скрепил Карась, стукнув по столу. — К черту рядовым — устроим врачом.

— Завтра полезем все вместе, — бормотал пьяный Мышлаевский, — все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура!

— Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, — ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицкого, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий... Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Николка с треском захохотал и сказал:

— Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть...

— Мобилизация, — ядовито продолжал Турбин, — жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки — просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет — дело швах! О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и какую армию! Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все по-

шли бы с дорогою душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.

Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.

— Ты... ты... тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право, — заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.

— Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, — сказал Николка.

— Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк, — ответил ему Турбин, — пей-ка лучше вино.

— Ты пойми, — заговорил Карась, — что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.

— Неправда! — тоненько выкликнул Турбин. — Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столкнуться с германом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Конечно. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас — Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб? — берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше, мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру... к-х... — Турбин яростно закашлялся.

— Стой! — Шервинский встал. — погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей, — пусть!

— Пять процентов, а девяносто пять — русских!..

— Верно. Но они сыграли бы роль э... э... вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь: русская армия, и никаких гвоздей. Не угодно ли? — Шервинский торжественно указал куда-то рукой. — На Владимирской улице уже развеваются трехцветные флаги.

— Опоздали с флагами!

— Гм, да. Это верно. Несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима.

— Дай бог, искренне желаю. — И Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу.

— План же был таков, — звучно и торжественно выговорил Шервинский, — когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказа-

ли бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича.

После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел.

— Император убит, — прошептал он.

— Какого Николая Александровича? — спросил ошеломленный Турбин, а Мышлаевский, качнувшись, искоса глянул в стакан к соседу. Ясно: крепился, крепился и вот напился, как зонтик.

Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на улана.

Но Шервинский не был особенно пьян, он поднял руку и сказал мощно:

— Не спешите, а слушайте. Н-но, прошу господ офицеров (Николка покраснел и побледнел) молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?

— Никакого понятия не имеем, — с интересом сообщил Карась.

— Ну-с, а мне известно.

— Тю! Ему все известно, — удивился Мышлаевский. — Ты ж не ездил...

— Господа! Дайте же ему сказать.

— После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России — в Москву», — и прослезился.

Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.

— Слушай... это легенда, — болезненно сморщившись, сказал Турбин. — Я уже слышал эту историю.

— Убиты все, — сказал Мышлаевский, — и государь, и государыня, и наследник.

Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуха и молвил:

— Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества...

— Несклько преувеличено, — спына сострил Мышлаевский.

Елена возмущенно дрогнула и показала из тумана.

— Витя, тебе стыдно. Ты офицер.

Мышлаевский нырнул в туман.

— ...вымыслено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера... то есть, виноват, гувернера

наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его... э... в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.

— Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? — начал Карась.

— Они оба в гостях в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.

Николкина душа стонала, полная смятения. Ему хотелось верить.

— Если это так, — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, — я предлагаю тост: здоровье его императорского величества! — Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.

— Пусть! Пусть! Пусть даже убит, — надломленно и хрипло крикнула она. — Все равно. Я пью. Я пью.

— Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! — Турбин крикнул и поднял стакан.

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! — трижды в грохоте пронеслось по столовой.

Василиса вскочил вниз в холодном поту. Со сна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну.

— Боже мой... бо... бо... — бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку.

— Что же это такое? Три часа ночи! — завопил, плача, Василиса, адресуясь к черному потолку. — Я жаловаться наконец буду!

Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:

...си-ильный, де-ержавный,
царрр-ствуй на славу...

Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал:

— Нет... они, того, душевнобольные... Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебашь. Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице слышно!!

Но Ванда уже свалилась как камень и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваньях.

РАССКАЗЫ



СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Не стоит вызывать его!

Не стоит вызывать его!

Речитатив Мефистофеля

I

Дура Ксюшка доложила:

— Там к тебе мужик пришел...

Madame Лузина вспыхнула:

— Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне «ты» не говорила! Какой такой мужик?

И выплыла в переднюю.

В передней вешал фуражку на олений рог Ксаверий Антонович Лисиневич и кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад.

Madame Лузина вспыхнула вторично.

— Ах, Боже! Извините, Ксаверий Антоныч! Эта деревенская дура!.. Она всех так... Здравствуйте!

— О, помилуйте!.. — светски растопырил руки Лисиневич. — Добрый вечер, Зинаида Ивановна! — Он свел ноги в третью позицию, склонил голову и поднес руку madame Лузиной к губам.

Но только что он собрался бросить на madame долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. И взгляд угас.

— Да-а... — немедленно начал волюнку Павел Петрович, — «мужик»... хе-хе! Ди-ка-ри! Форменные дикари. Я вот думаю: свобода там... Коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки! Мужик... Хе-хе! Вы уж извините, ради Бога! Муж...

«А дурак!» — подумала madame Лузина и перебила:

— Да что ж мы в передней?.. Пожалуйте в столовую...

— Да, милости просим в столовую, — скрепил Павел Петрович, — прошу!

Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой и вышла в столовую.

— Я и говорю, — продолжал Павел Петрович, обнимая за талию

гостя, — коммунизм... Спору нет: Ленин человек гениальный, но... да, вот не угодно ли пайковую... хе-хе! Сегодня получил... Но коммунизм — это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... Ах, разорванная? Возьмите другую, вот с краю... По своей сути требует известного развития... Ах, подмоченная? Ну и папиросы! Вот, пожалуйста, эту... По своему содержанию... Погодите, разгорится... Ну и спички! Тоже пайковые... Известного сознания...

— Погоди, Польша! Ксаверий Антонович, чай до или после?

— Я думаю... э-э, до, — ответил Ксаверий Антонович.

— Ксюшка! Примус! Сейчас все придут! Все страшно заинтересованы! Страшно?! Я пригласила и Софью Ильиничну...

— А столик?

— Достали! Достали! Но только... Он с гвоздями. Но ведь, я думаю, ничего?

— Гм... Конечно, это нехорошо... Но как-нибудь обойдемся...

Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инкрустацией, и пальцы у него сами собой шевельнулись.

Павел Петрович заговорил:

— Я, признаться, не верю. Не верю, как хотите. Хотя, правда, в природе...

— Ах, что ты говоришь! Это безумно интересно! Но предупреждаю: я буду бояться!

Madame Лузина оживленно блеснула глазами, затем выбежала в переднюю, поправила наскоро прическу у зеркала и впорхнула в кухню. Оттуда донесся рев примуса и хлопанье Ксюшкиных пяток.

— Я думаю, — начал Павел Петрович, но не кончил.

В передней постучали. Первая явилась Леночка, затем квартирант. Не заставила себя ждать и Софья Ильинична, учительница II-ой ступени. А тотчас же за ней явился и Боборицкий с невестой Ниночкой.

Столовая наполнилась хохотом и табачным дымом.

— Давно, давно нужно было устроить!

— Я, признаться...

— Ксаверий Антонович! Вы будете медиум! Ведь да? Да?

— Господа, — кокетничал Ксаверий Антонович, — я ведь, в сущности, такой же непосвященный... Хотя...

— Э-э, нет! У вас столик на воздух поднимался!

— Я, признаться...

— Уверяю тебя, Маня собственными глазами видела зеленоватый свет!..

— Какой ужас! Я не хочу!

— При свете! При свете! Иначе я не согласна, — кричала крепко сколоченная, материальная Софья Ильинична, — иначе я не поверю!

— Позвольте... Дадим честное слово...

— Нет! Нет! В темноте! Когда Юлий Цезор выступал нам смерть...

— Ах, я не могу! О смерти не спрашивать! — кричала невеста Боборицкого, а Боборицкий томно шептал:

— В темноте! В темноте!

Ксюшка, с открытым от изумленья ртом, внесла чайник. Madame Лузина загремела чашками.

— Скорее, господа, не будем терять времени!..

И сели за чай...

...Шалью, по указанию Ксаверия Антоновича, наглухо закрыли окно. В передней потушили свет и Ксюшке приказали сидеть на кухне и не топтать пятками. Сели, и стала темь...

II

Ксюшка заскучала и встревожилась сразу. Какая-то чертовщина... Всюду темень. Заперлись. Сперва тишина, потом тихое, мерное постукивание. Услылав его, Ксюшка застыла. Страшно стало. Опять тишина. Потом неясный голос...

— Господи?..

Ксюшка шевельнулась на замасленном табурете и стала прислушиваться...

Тук... Тук... Тук... Будто голос гостыи (чистая тунба, прости Господи!) забубнил:

— А, га, га, га...

Тук... Тук...

Ксюшка на табурете, как маятник, качалась от страха к любопытству... То черт с рогами мерещился за черным окном, то тянуло в переднюю...

Наконец не выдержала. Прикрыла дверь в освещенную кухню и шмыгнула в переднюю. Тыча руками, наткнулась на сундуки. Протиснулась дальше, пошарила, разглядела дверь и приникла к скважине... Но в скважине была адова тьма, из которой доносились голоса...

III

— Ду-ух, кто ты?

— А, бе, ве, ге, де, е, же, зе, и...

Тук!

— И! — вздохнули голоса.

— А, бе, ве, ге...

— Им!

Тук... тук, тук...

— Им-пе-ра!.. О-о! Господа...

— Император На-по...

Тук... Тук...

— На-по-ле-он!!.. Боже, как интересно!..

— Тише!.. Спросите! Спрашивайте!
 — Что?.. Да, спрашивайте!.. Ну, кто хочет?..
 — Дух императора, — прерывисто и взволнованно спросила Леночка, — скажи, стоит ли мне переходить из Главхима в Желеском? Или нет?.. Тук... Тук... Тук...
 — Ду-у... Ду-ра! — отчетливо ответил император Наполеон.
 — Ги-и! — гигикнул дерзкий квартирант.
 Смешок пробежал по цепи.
 Софья Ильинична сердито шепнула:
 — Разве можно спрашивать ерунду!
 Уши Леночки горели во тьме.
 — Не сердись, добрый дух! — взмолилась она. — Если не сердись-ся, стукни один раз!
 Наполеон, повинувшись рукам Ксаверия Антоновича, ухитрившегося делать сразу два дела — щекотать губами шею madame Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в мозоль Павла Петровича.
 — Сс-с! — болезненно прошипел Павел Петрович.
 — Тише!.. Спрашивайте!
 — У вас никого посторонних нет в квартире? — спросил осторожный Боборицкий.
 — Нет! Нет! Говорите смело!
 — Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?
 — А-а!.. Это интересно! Тише!.. Считайте!..
 Та-ак, та-ак, — застучал Наполеон, припадая на одну ножку.
 — Те... эр... и... три... ме-ся-ца!
 — А-а!!
 — Слава Богу! — вскричала невеста. — Я их так ненавижу!
 — Тсс! Что вы?!
 — Да никого нет!
 — Кто их свергнет? Дух, скажи!..
 Дыхание затаили... Та-ак, та-ак...
 ...Ксюшку распирало от любопытства...
 Наконец она не вытерпела. Отшатнувшись от собственного отражения, мелькнувшего во мгле зеркала, она протиснулась между сундуками обратно в кухню. Захватила платок, шмыгнула обратно в переднюю, поколебалась немного перед ключом. Потом решила, тихонько прикрыла дверь и, дав волю пяткам, понеслась к Маше нижней.

IV

Маша нижняя нашлась на парадной лестнице у лифта внизу вместе с Дуськой из пятого этажа. В кармане у нижней Маши было на 100 тысяч семечек.

Ксюшка излилась.

— Заперлись они, девоньки... Записывают про императора и про большевиков... Темно в квартире, страсть!.. Жилец, барин, барыня, халь ейный, учительша...

— Ну!! — изумлялась нижняя и Дуська, а мозаичный пол покрылся липкой шелухой...

Дверь в квартире №3 хлопнула, и по лестнице двинулся вниз бравый в необыкновенных штанах. Дуська, и Ксюшка, и нижняя Маша скосили глаза. Штаны до колен были как штаны из хорошей диагонали, но от колен расширились, расширились и становились как колокола.

Квадратная бронзовая грудь распирала фуфайку, а на бедре тускло и мрачно глядело из кожаной штуки востроносое дуло.

Бравый, лихо закинув голову с золотыми буквами на лбу, легко перебирая ногами, отчего колокола мотались, спустился к лифту и, обжегши мимолетным взглядом всех троих, двинулся к выходу...

— Лампы потушили, чтобы я, значит, не видела... Хи-хи!.. И записывают... большевикам, говорят, крышка... Инпиратор... Хи! Хи!

С бравым что-то произошло. Лакированные ботинки вдруг стали прилипать к полу. Шаг его замедлился. Правый вдруг остановился, пошарил в кармане, как будто что-то забыл, потом зевнул и вдруг, очевидно, раздумав, вместо того чтобы выйти в парадное, повернулся и сел на скамью, скрывшись из Ксюшкиного поля зрения за стеклянным выступом с надписью «швейцар».

Заинтересовал его, по-видимому, рыжий потрескавшийся купидон на стене. В купидона он впился и стал его изучать...

...Облегчив душу, Ксюшка затоптала обратно. Бравый уныло зевнул, глянул на браслет-часы, пожал плечами и, видимо, соскучившись ждать кого-то из квартиры №3, поднялся и, развинченно помахивая колоколами, пошел на расстоянии одного марша за Ксюшкой...

Когда Ксюшка скрылась, стараясь не хлопнуть дверью, в квартире, в темноте на площадке вспыхнула спичка у белого номерка — «24». Бравый уже не прилипал и не позевывал.

— Двадцать четыре, — сосредоточенно сказал он самому себе и, бодрый и оживленный, стрелой понесся вниз через все шесть этажей.

V

В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал, как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель. Потная Софья Ильинична, не переставая, читала азбуку. Руки, онемели у всех, кроме Ксаверия Антоновича. Мутные, беловатые силуэты мелькали во мгле. Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим в нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх.

— Ах!.. Довольно!.. Я боюсь!.. Нет! Пусть! Милый! Дух! Выше!.. Никто не трогает, ногами?.. Да нет же!.. Тсс!.. Дух! Если ты есть, возьми Ia на пианино! — Грек оборвался сверху и грянул всеми ножками в

пол. Что-то с треском лопнуло в нем. Затем он забарахтался и, наступая на ноги взвизгивающим дамам, стал рваться к пианино... Спириты, сталкиваясь лбами, понеслись за ним...

Ксюшка вскочила как встрепанная с ситцевого одеяла в кухне. Ее писка: «Кто такой?» — очумевшие спириты не слышали.

Какой-то новый, злобный и страшный, дух вселился в стол, выкинув покойного грека. Он страшно гремел ножками, как из пулемета, кидался из стороны в сторону и нес какую-то околесину:

— Дра-ту-ма... бы... ы... ы.

— Миленький! Дух! — стонали спириты.

— Что ты хочешь?!

— Дверь! — наконец вырвалось у бешеного духа.

— А-а!.. Дверь! Слышите! В дверь хочет бежать!.. Пустите его!

Трык, трак, тук, — заковылял стул к двери.

— Стойте! — крикнул вдруг Боборицкий. — Вы видите, какая в нем сила! Пусть, не доходя, стукнет в дверь!

— Дух! Стукни!!

И дух превзошел ожидания. Снаружи в дверь он грянул как будто сразу тремя кулаками.

— Ай! — визгнули в комнате три голоса.

А дух действительно был полон силы. Он забарабанил так, что у спиритов волосы стали дыбом. Вмиг замерло дыхание, стала тишина...

Дрожанием голосом выкрикнул Павел Петрович:

— Дух! Кто ты?..

И из-за двери гробовой голос ответил:

— Чрезвычайная комиссия.

...Дух испарился из стола позорно — в одно мгновение. Стол, припав на поврежденную ножку, стал неподвижно. Спириты окаменели. Затем madame Лузина простонала: «Бо-о-же!» — и тихо сникла в неподдельном обмороке на грудь Ксаверию Антоновичу, прошипевшему:

— О, черт бы взял идиотскую затею!

Трясущиеся руки Павла Петровича открыли дверь. Вмиг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась в передней.

Мелькнула бронзовая грудь, граненый ствол, серая шинель, еще шинель...

Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зловеще ухмыльнувшись, сказал:

— Ваши документы, товарищи...

ЭПИЛОГ

Боборицкий сидел неделю, квартирант и Ксаверий Антонович — 13 дней, а Павел Петрович — полтора месяца.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ



У-у-у-у-у-гу-гу-гугу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке, повар в столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи Боже мой, как больно! До костей проело кипятком. Я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь?

Чем я ему помешал? Чем? Неужли же я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя — все равно что калашу лизать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на кругу при луне — «милая Аида», — так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое — изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал он кипятком, под шерсть

проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадаетея разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут, лакают!

Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только — сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет:

— До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель и сколько ни накраду — все, все на женское тело, на раковые шейки, на «Абрау-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты скулишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...

Ведьма — сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбочнку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

— Боже мой... какая погода... ух... и живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! Какой он, к черту, Шарик? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь! О, глаза — значительная вещь! Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай! Раз боишься, значит, стоишь... Р-р-р... гау-гау.

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты напишет — меня, Филиппа Филипповича, обкормили!

Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроко-нечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у фран-

цузских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей и сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес полз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы — величина мирового значения, благодаря мужским половым железам... У-у-у-у... Что ж это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние и подлинно грех? Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная личность. У-у-у-у!

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строжайшим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять «Шарик»! Окрестили! Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок...

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что, — господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарик, пылливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— Ага, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот

и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной, — он пощелкал пальцами, — фить-фить!

За вами идти? Да на край света, pinaйте меня вашими фетровыми ботиками в рыло, я слова не вымоглю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одною мыслью, как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный, кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пес Шарик свету неувидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на kota он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, вздрался по трубе до второго этажа.

Фр-р-р... гау... вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. Эх, чудак. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить, сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить!

Сюда? С удово... Э, нет! Позвольте. Нет! Тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе!

— Да не бойся ты, иди!

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуйте, Федор.

Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозоли-

стюю ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз ты морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу — почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович. (Интимно вполголоса вдогонку): А в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приложил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так. Целых четыре штуки.

— Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну, и что же они?

— Да ничего-с!

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество. А прежних в шею.

— Что делается! Ай-яй-яй... Фить-фить...

Иду-с, поспешаю. Бок, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу, на мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельэтаж.

2

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не умеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с

надписью «М. С. П. О. Мясная торговля». Повторяем, все это не к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там, у братьев, пес отведаль изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки, — «М».

Далее пошло еще успешнее. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом уже «б» (подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер).

Израцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидящих собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармонике, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли...», что означало: «Неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, — псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины — гау-гау... га...строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и — ви, нэ-а — вина... Елисеевы братья бывшие...

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розоватым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-эр-о — «Про...». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая.

«Неужто пролетарий? — подумал Шарик с удивлением. — Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетаем и не пахнет. Ученое слово, а Бог его знает, что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружев-

ной наколочке предстала перед псом и господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да. Это я понимаю», — подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого полу, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки, до чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где же он паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятию шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм... Это не парши... да стой ты, черт... Гм... А-а! Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!

«Повар, каторжник. Повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат!

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной комнате, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э... нет... — мысленно звыл пес, — извините, не дамся! Понимаю! О, черт бы взял их и с колбасой! Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет! Куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?! — кричала отчаянно Зина. — Вот оканьяный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударился наобум в стекло в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой! С-скотина! — кричал господин, прыгая в халате, надетом в один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба... Батюшки!.. Вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его, и всю комнату наполнило сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тянул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная мерзость неожиданно перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок.

«Спасибо, конечно, — мечтательно думал он, ваяясь прямо на острые стекла, — прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы! Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы живодеры, за что ж вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

* * *

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто и не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».

— «От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей», — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза, и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были подвернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пес. — Это, стало быть, я его кусанул, моя работа. Ну, будут драть!»

— «Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!..» Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?..

— У-у-у-у, — жалобно заскулил пес.

— Ну ладно. Опомнись — и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого

нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковые кальсоны откатились книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделывать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Кра-ковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй! Я тебе съем! Это отравы для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю, ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит. «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой!..»

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурочок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить... ну нечего, нечего! Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громаднейшая сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись, — приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот тятнутый, оказавшийся теперь, в ярком свете, очень красивым, молодым, с черной острой бородкой, подал лист, молвив:

— Престранный... — тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница... куда-то в другое место я попал, — в смя-

тении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, — а сову эту мы разъясим...»

Дверь мягко открылась, и вошел некто настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко.

— Молчать! Ба-ба-ба! Да вас узнать нельзя, голубчик!

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

— Хи-хи... Вы — маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Иисусе! — подумал пес. — Вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали ржавым табачным цветом. Морщины расплзались по лицу у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского шелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

— Тяу, тяу... — Он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе... Мы одни, профессор? Это неопишимо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д'оннёр¹ двадцать пять лет ничего подобного! — Субъект взялся за пуговицу брюк. — Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями... Я положительно очарован. Вы — чудесник!

— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал наконец с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались не виданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами.

Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?...» — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Фи-

¹ Честное слово (от *фр.* parole d'honneur).

липп Филиппович, грозя пальцем, — вы все-таки смотрите не злоупотребляйте!

— Я не зло... — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта...

— Ну и что же, какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— Двадцать пять лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного! Последний раз в 1899 году в Париже на Рю-де-ла-Пе.

— А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

— Проклятая Жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, — бормотал субъект, ища глазами зеркало, — ведь это же ужасно! Им морду нужно бить, — свирепея, добавил он. — Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм... Обрейтесь наголо.

— Профессор! — жалобно восклицал посетитель. — Да ведь они же опять седые вырастут! Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю. Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой! — бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазками исследовал голый живот пациента. — Ну что ж, прелестно, все в полном порядке... Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата... «Много крови, много песен!..» Одевайтесь, голубчик!

— «Я же той, кто всех прелестней!..» — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться, — сказал Филипп Филиппович, — но все-таки, прошу вас, будьте осторожны.

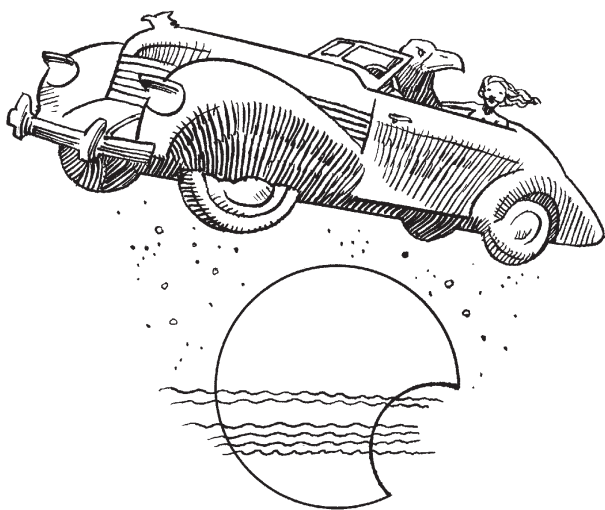
— Профессор, — из-за двери, в экстазе, воскликнул гость, — будьте совершенно спокойны. — Он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звоночек пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно, 54—55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета.

МАСТЕР И МАРГАРИТА



...так кто ж ты, наконец?
— Я — часть той силы, что вечно хочет
зла и вечно совершает благо.

Гете. «Фауст»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ

В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них — приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, — был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой Массолит, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Поньрев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попад в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым делом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

— Пиво есть? — сильным голосом осведомился Бездомный.

- Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.
- А что есть? — спросил Берлиоз.
- Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.
- Ну, давайте, давайте, давайте!..

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было... сердце шалит... я переутомился... Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух спустился перед ним, и сооткнулся из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»

Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.

— Фу ты черт! — воскликнул редактор. — Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было... — Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: «Ну-с, итак...» — повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора несколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот те-

перь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта.

Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича — избрительная ли сила его таланта или полное незнание с вопросом, по которому он писал, — но Иисус у него получился, ну совершенно живой, некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус.

Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкновенный миф.

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в пятнадцатой книге, а главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, — есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую.

— Нет ни одной восточной религии, — говорил Берлиоз, — в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно было сделать главный упор...

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, — поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благодетельного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хро-

мал на правую ногу. Во второй — что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду — лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый — почему-то зеленый.

Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

«Немец...» — подумал Берлиоз.

«Англичанин... — подумал Бездомный. — Ишь, и не жарко ему в перчатках».

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.

Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

— Ты, Иван, — говорил Берлиоз, — очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына Божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божиих, как, скажем, финикийский Адонис, фригийский Аттис, персидский Митра. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения или, предположим, прихода волхвов, изобразил бы нелепые слухи об этом приходе. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..

Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.

Те поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, — что я, не будучи знаком,

позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.

«Нет, скорее француз...» — подумал Берлиоз.

«Поляк?..» — подумал Бездомный.

Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли.

— Разрешите мне присесть? — вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор: — Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? — спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Берлиоз, — именно это я и говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.

«А какого черта ему надо?» — подумал Бездомный и нахмурился.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.

— На все сто! — подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.

— Изумительно! — воскликнул непрошенный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: — Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога? — Он сделал испуганные глаза и прибавил: — Клянусь, я никому не скажу.

— Да, мы не верим в Бога, — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз, — но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже при визгнув от любопытства:

— Вы — атеисты?!

— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»

— Ох, какая прелесть! — вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить от всей души!

— За что это вы его благодарите? — заморгав, осведомился Бездомный.

— За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чужак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» — подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» — и опять нахмурился.

— Но, позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?

— Увы! — с сожалением ответил Берлиоз. — Ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может.

— Bravo! — вскричал иностранец. — Bravo! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но все-таки, кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски?»

— Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! — совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.

— Иван! — сконфузившись, шепнул Берлиоз.

Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.

— Именно, именно, — закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, — ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» — подумал он.

— Но, — продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза

и обращаясь к поэту, — отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!

— А жаль! — отозвался задира-поэт.

— И мне жаль, — подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на земле?

— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлиозу, — вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... — тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, — да, саркома, — жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, — и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье — совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, так как неизвестно почему вдруг возьмет поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. «Он не иностранец... он не иностранец... — думал он, — он престранный субъект... но позвольте, кто же он такой?..»

— Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.

— Какие предпочитаете? — повторил неизвестный.

— Ну, «Нашу марку», — злобно ответил Бездомный.

Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:

— «Наша марка».

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Тут литераторы подумали разное. Берлиоз: «Нет, иностранец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми, а!..»

Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался.

«Надо будет ему возразить так, — решил Берлиоз, — да, человек смертен, никто против этого и не спорит. Но дело в том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:

— Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то нелепая постановка вопроса...» — помыслил Берлиоз и возразил:

— Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другою смертью.

— Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор. — И скажете мне?

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье... вечер — семь...» — и громко и радостно объявил: — Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:

— А кто именно? Враги? Интервенты?

— Нет, — ответил собеседник, — русская женщина, комсомолка.

— Гм... — промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, — ну это, извините, маловероятно.

— Прощу и меня извинить, — ответил иностранец, — но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

— Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в Массолите состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо возразил иностранец.

— Это почему?

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.

— Простите, — после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца, — при чем здесь подсолнечное масло... и какая Аннушка?

— Подсолнечное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Бездомный, очевидно решив объявить незваному собеседнику войну, — вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?

— Иван!.. — тихо воскликнул Михаил Александрович.

Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся.

— Бывал, бывал, и не раз! — вскричал он, смеясь, но не сводя смеющегося глаза с поэта. — Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него. Иван Николаевич!

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? — Здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать.

— О, с удовольствием! — воскликнул неизвестный. — Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

— Вот что, Миша, — зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, — он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет...

— Ты думаешь? — встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав...»

— Уж ты мне верь, — засипел ему в ухо поэт, — он дурачком прикидывается, чтобы выпросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит, — поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал, — идем, задержим его, а то уйдет...

И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке.

Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку.

— Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, — веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов.

Те сконфузились. «Черт, слышал все...» — подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии — двойное «В» — «W».

— Очень приятно, — тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман.

Отношения таким образом были восстановлены, и все трое вновь сели на скамью.

— Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? — спросил Берлиоз.

— Да, консультантом.

— Вы — немец? — осведомился Бездомный.

— Я-то?.. — переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец... — сказал он.

— Вы по-русски здорово говорите, — заметил Бездомный.

— О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков, — ответил профессор.

— А у вас какая специальность? — осведомился Берлиоз.

— Я — специалист по черной магии.

«На тебе!..» — стукнуло в голове у Михаила Александровича.

— И... и вас по этой специальности пригласили к нам? — заикнувшись, спросил он.

— Да, по этой пригласили, — подтвердил профессор и пояснил: — Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я — единственный в мире специалист.

— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.

— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!

И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профессор помянул обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:

— Имейте в виду, что Иисус существовал.

— Видите ли, профессор, — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.

— А не надо никаких точек зрения, — ответил странный профессор, — просто он существовал, и больше ничего.

— Но потребуется же какое-нибудь доказательство... — начал Берлиоз.

— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: — Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...

Глава 2

ПОНТИЙ ПИЛАТ

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикрания, при которой болит полголовы... от нее нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой...»

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удер-

жавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

— Да, прокуратор, — ответил секретарь.

— Что же он?

— Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, — объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. — И так же монотонно прибавил: — Кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

— Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда ни минутой, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появ-

лялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

Выведа арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, не сильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обесмыслились.

Марк одною левой рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

— Римского прокуратора называть — игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня.

Через минуту он вновь стоял перед прокуратором. Прозвучал тусклый, больной голос:

— Имя?

— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывая более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

— Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

— Иешуа, — поспешно ответил арестант.

— Прозвище есть?

— Га-Ноцри.

— Откуда ты родом?

— Из города Гамалы, — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, — я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...

— Где ты живешь постоянно?

— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.

— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга, — сказал прокуратор и спросил: — Родные есть?

— Нет никого. Я один в мире.

— Знаешь ли грамоту?

— Да.

— Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

— Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

— Так это ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:

— Я, доб... — тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, — я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над маленьким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.

— Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, — говорил монотонно прокуратор, — а попадают и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

— Эти добрые люди, — заговорил арестант и, торопливо прибавив: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба больные глаза тяжело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, — произнес Пилат мягко и монотонно, — за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, — ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, бога ради, свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант, — он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, — тут арестант усмехнулся, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.

— ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, — продолжал Иешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:

— О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.

— А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, — объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: — И с тех пор он стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.

— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос.

— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колот Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду...»

И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом бритом лице его выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волей и вновь опустился в кресло.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.

— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется... — арестант повернулся, прищурился на солнце, — ...позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.

— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласишься, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, — и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим

или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыхливого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.

Тогда раздался сорванный, хриповатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров стукнул копьём, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.

Круто исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.

— Я не спросил тебя, — сказал Пилат, — ты, может быть, знаешь и латинский язык?

— Да, знаю, — ответил арестант.

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:

— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты водил рукой по воздуху, — и арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы...

— Да, — сказал Пилат.

Помолчали. Потом Пилат задал вопрос по-гречески:

— Итак, ты врач?

— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я не врач.

— Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

— Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?

— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор и улынулся какой-то страшной улыбкой, — так поклянись, что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант. — Если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласишься, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

— Так, так, — улыбнувшись, сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? — Тут прокуратор указал на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

— У меня и осла-то никакого нет, игемон, — сказал он. — Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — некоего Дисмаса, другого — Гестаса и третьего — Вар-раввана?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.

— Правда?

— Правда.

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.

— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может быть, я мало знаю жизнь!.. Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И ты проповедуешь это?

— Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

— Охотно могу сообщить это, — отозвался Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма,

а командовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев.

— Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы.

— Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Га-Ноцри и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Га-Ноцри могут быть причиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергнет его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.

Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

— Всё о нем? — спросил Пилат у секретаря.

— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.

— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в гус-

тейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества...»

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!..», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, — ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? — Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

— Правду говорить легко и приятно, — заметил арестант.

— Мне не нужно знать, — придушенным, злым голосом отозвался Пилат, — приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту намекающий взор.

— Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

— Дело было так, — охотно начал рассказывать арестант, — позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

— Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

— Да, — немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат. — Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? — Но в тоне Пилата была уже безнадежность.

— В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что вся-

кая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

— Далее!

— Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — Сорванный и больной голос Пилата разрossa.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

— И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — Тут Пилат вскричал: — Вывести конвой с балкона! — И, повернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.

Конвой поднял копыя и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.

Первым заговорил арестант:

— Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

— Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде!.. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в Долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: — Преступник! Преступник! Преступник!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Михаил Афанасьевич Булгаков родился на Воздвиженской улице в Киеве 3 (15 мая) 1891 г. в многодетной семье (четыре дочери и трое сыновей) профессора церковной истории Киевской духовной академии. А умер в Москве, на ул. Фурманова, 10 марта 1940 г., продолжая «сколько хватает сил»¹ править роман «Мастер и Маргарита» (1928—1940), впитавший многие — неотделимые от судьбы — мотивы творчества, растущие из глубин мировой литературы и Библейского контекста.

Домом для М.А.Булгакова был Киев, здесь он учился в Первой киевской гимназии (1901—1909), огорчая мать приступами отроческой самостоятельности, а затем на медицинском факультете Киевского университета (1909—1916). Здесь он получил звание «лекаря с отличием» («Автобиография», 1924), а ранее, в 1913 г., повенчался с юной Т.Н. Лаппа. В родительском доме были написаны первые рассказы. Частой гостьей Булгаковых была бабушка со стороны матери — А.И. Турбина. Смерть матери, весна, май и вишневые деревья окажутся для Турбиных («Белая гвардия») символами Дома, в который нет возврата в революционную распутицу, превратившую жизнь самого Булгакова в затянувшуюся Страстную неделю, четыре дня из которой (с Великой Среды по Великую Субботу, включая Пасхальный рассвет) описаны в «Мастере и Маргарите». Те же символы — смерть героев, май, зацветающие вишни, надежда обрести дом и покой — повторяются в развязке его последнего романа. Воланд манит миражом утраченного дома, но способен лишь лишить героев Светлого Воскресения.

Послереволюционный Киев — особый хронотоп в творчестве Булгакова, в котором его герои переживают вечные коллизии любви, чести, долга пред Царем и Отечеством. Семья и дом — духовная опора, которой нет вне Киева. За его пределами Булгаков становится не столько провидцем, сколько изобретателем полных реминисценций (из Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Чехова, Мольера, «Фауста» Гете и Гуно, Гофмана, Андерсена и др.) сюжетов для героев-одиночек, словно принявших 15 капель гомеопатического раствора Ивана Васильевича («Театральный роман»), позволяющих не чувствовать, что в шутовском обличье является рок. Ад приучает жить в атмосфере апокалипсического фарса. Сверхъестественное зло парализует волю, повергая в безволие смеха, морфия или сна.

¹ Е. Булгакова. Дневник Елены Булгаковой. М., «Книжная палата», 1990. С. 288.

В борьбу с болезнями и «тьмой египетской» в душах людей Булгаков вступил летом 1916 г., когда, ускоренным выпуском окончив университет Св. Владимира, работал в прифронтовых госпиталях Красного Креста на Юго-Западном фронте. В 1916—1917 гг., освобожденного по болезни от призыва, Булгакова назначают доктором в земскую больницу села Никольского Смоленской губернии, затем переводят в Вязьму. Здесь, в глухой провинции, он начинает работать над «Записками юного врача», само название которых указывает на влияние необычайно популярных «Записок врача» В.В.Вересаева (1901).

Революция застала Булгакова в Вязьме, но уже в начале 1918 г., он едет через Москву, где надеется освободиться от военной службы и пристрастия к морфию, в Киев. В родной город Булгаков прибывает в марте 1918 г. и попытается заняться частной врачебной практикой и творчеством, станет свидетелем десяти из четырнадцати переворотов («Киев-город», 1923) — причем каждая новая власть постарается призвать его на службу, — узнает о расстреле царской семьи, а в августе 1919 г., после взятия Киева генералом Деникиным, будет мобилизован в Белую гвардию и отправится на Северный Кавказ военврачом, сочиня в поезде рассказ, опубликованный в ненайденном номере газеты.

Первой публикацией Булгакова считается газетная статья «Грядущие перспективы» (г. Грозный. 1919. — № 47. — Ноябрь.), в которой звучат нотки неприятия революции с монархических позиций.

Но в 1919 г. в душе Булгакова произошел переворот: во Владикавказе деникинцы бросили слегшего с тифом молодого писателя, и он решил сотрудничать с новой властью.

В 1920—1921 гг. Булгаков работает во владикавказском подотделе искусств, читает лекции о Пушкине и Чехове, пишет пять пьес для местного театра. Три из них будут поставлены. Но затем Булгаков, еще недавно стремившийся к постановкам в Москве, уничтожит рукописи. Уцелеют лишь написанные в соавторстве с Ю.Л.Слезкиным «Сыновья муллы». Несовершенное должно гореть. Едва ли Булгаков мог порадовать в те дни афоризм Воланда «рукописи не горят» — не горят лишь договоры с ним, которые уничтожаются не огнем, а покаянием. В отличие от своего Мастера Булгаков не писал в соавторстве с Воландом, хотя это искушение преследовало его. Творчество — всегда договор с Богом или дьяволом. Оно либо окрыляет, либо тяготит творца. Булгакова порой тяготили созданные им образы, например покончивший собой Хлудов в ранней редакции (1933 и 1934) «Бега»¹. Максудов, автобиографический герой «Театрального романа» (1936—1939), при свете адского огня в электрической печке и отсветах болезненно-прозорливого воображения, уже явно заключает договор со своим Воландом —

¹ Булгаков М. Дневник. Письма. 1914—1940. Сост. В.И. Лосев. М., 1997. С. 251.

с управляющим материальным фондом театра Гавриилом Степановичем, призывавшим о душе подумать.

На Кавказе Булгаков продолжал мечтать об эмиграции. В дальнейшем великий Исход интеллигенции из России утратит для писателя библейское звучание и масштаб и — отчасти под влиянием эмигрантских воспоминаний Л.Е. Белозерской-Булгаковой, второй жены писателя, — превратится в тараканы бег. («Бег», 1926—1937).

В последние дни своего пребывания на Кавказе Булгаков встречается с О.Э. Мандельштамом, который, видимо, повлиял на его решение уехать в Москву.

Итак, в конце 1921 г. Булгаков оказался в столице. Устроился при помощи Н.К. Крупской секретарем в Литературный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе. Но это Лито недолго просуществовало в нэповской Москве. В поисках заработка, в хлопотах о получении жилья Булгаков не оставлял мысли завершить начатый во Владикавказе большой роман. В трудный момент, с письмом на имя Ленина, Булгаков является на прием в Наркомпрос. И вновь, уже после смерти Ленина, молодому писателю помогает Н.К. Крупская: Булгаков (с первой женой) получает право на жилье в коммунальной квартире № 50 в доме на Садовой, распахнувшей перед ним свои двери и нравы, многократно описанные в рассказах, фельетонах, «Мастере и Маргарите».

Сменив множество профессий (конферансье, инженер...), Булгаков уже весной 1922 г. начинает печататься в «Рабочем», «Рупоре», «Железнодорожнике», «Красном журнале для вех», «Красной ниве». Становится постоянным фельетонистом газеты «Гудок», работая над «четвертой полосой» с В. Катаевым, И. Ильфом и Е. Петровым, И. Бабелем и Ю. Олешей. Пишет для берлинской газеты «Накануне» (редакторы коей Ю.В. Ключников и Ю.Н. Потехин были в числе авторов сборника «Смена вех», обосновывавшего сближение эмиграции с Советской Россией). В воскресном литературном приложении к газете, выходившем под редакцией А.Н.Толстого, в 1922 г. напечатаны «Записки на манжетах», «Похождения Чичикова», «Красная корона» и «Чаша жизни» Булгакова.

Удивительно чуткий к искажениям человеческой природы, Булгаков в 1923—1925 гг. создает «Дьяволиаду» (1924) и «Роковые яйца» (1925), опубликованные Н.С. Ангарским в альманахе «Недра», «Собачье сердце» (1925). (Последняя рукопись наряду с дневником была изъята при обыске квартиры Булгакова 7 мая 1926 г. и возвращена после хлопот Горького и Е.П. Пешковой, а также после попытки Булгакова демонстративно выйти из Всероссийского союза писателей.). О первых повестях Е.Замятин отзывался как о «фантастике, корнями врастающей в быт»¹.

¹ Е. Замятин. О сегодняшнем и современном.//Русский современник. 1924. № 2. С 264.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА. МОРФИЙ	5
Полотенце с петухом	7
Крещение поворотом	17
Стальное горло	25
Вьюга	32
Тьма египетская	42
Пропавший глаз	50
Звездная сыпь	61
Морфий	72
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ	99
ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ	313
Необыкновенные приключения доктора	315
Красная корона	325
Китайская история	330
Налет	338
Богема	344
Записки на манжетах	350
В ночь на 3-е число	382
РАССКАЗЫ	393
Спиритический сеанс	395
№ 13. — дом Эльпит-Рабкоммуна	401
Чаша жизни	408
Московские сцены	412
Псалом	417
Серия ноль шесть № 0660243	421
Воспоминание...	425
Ханский огонь	430

Багровый остров	443
Я убил	457
Был май	466
<i>ДЬЯВОЛИАДА (Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя).</i>	469
<i>РОКОВЫЕ ЯЙЦА (Повесть)</i>	501
<i>СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ (Чудовищная история)</i>	561
ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА	639
ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА (Театральный роман)	781
ТАЙНОМУ ДРУГУ	902
МАСТЕР И МАРГАРИТА	925
<i>Светлана Голова. Послесловие</i>	1241